

22 декабря 1849 года Достоевский пережил смерть и второе рождение.

Он стоял во второй очереди на расстрел и был уверен, что через несколько минут «будет с Христом». Нежданное помилование он пережил как воскресение. Позже он не раз вспоминал это событие в романах и в разговорах с современниками, но впервые о нём было рассказано в письме к брату, написанном в этот поразительный день:

«Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа! прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения и теперь ещё раз живу!» (Д18, XV. Кн. I: 112)¹.

Так в жизни Достоевского впервые сошлись Голгофа и Пасха.

Он ощутил себя новым человеком. Предчувствием новой жизни пронизано ликующее прощальное письмо брату перед отправкой в Сибирь из Петропавловской крепости:

«Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди и быть *человеком* между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть, – вот в чём жизнь, – в чём задача её. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да правда! <...> во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить и страдать и желать и помнить – а это всё-таки жизнь!» (Д18, XV. Кн. I: 112).

Он сознавал, что его отправляют на каторгу, но будущая жизнь была окрашена светлыми ожиданиями:

«Нет жолчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить, и обнять хоть кого-нибудь из прежних, в это мгновение. Это отрада, я испытал её сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертью. <...> Жизнь дар, жизнь счастье, каждая минута могла быть веком счастья» (Д18, XV. Кн. I: 113).

Эта радостная эйфория вспомнилась ему и четыре года спустя, уже после выхода из каторги, – вспомнилось, как в праздничные дни от Рождества до Крещения везли его, Дурова и Ястржембского из Петербурга в Тобольск по необъятной России.

В Тобольском тюремном замке арестанты пробыли с 9 по 20 января 1850 года. Здесь они почувствовали «живейшую симпатию» «ссылных старого времени» и их жён. Декабристы и чиновники с деятельным участием встретили новых страдальцев. Жёны декабристов окружили узников своей заботой. Дочь тобольского прокурора, лекари, смотритель острога, даже жандармы были вовлечены в их хлопоты.

Достоевский вспоминал:

«Они (жёны декабристов. – В. З.) благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили евангелием – единственная книга, позволенная в остроге» (Д18, XI: 13).

Одарили Евангелием каждого узника совести, но именно Достоевского преобразила принятая в страданиях Благая Весть. Он через всю жизнь пронёс тобольский дар, который сокровенно и символично связал декабристов и петрашевцев, стал залогом его будущего «перерождения убеждений» и духовного возрождения, основанием его «*новой жизни*».

Началась эта жизнь заточением и «погребением» на четыре года в Омском остроге.

¹ Здесь и далее произведения Достоевского цитируются в авторской пунктуации в тексте статьи с указанием Д18, тома и страницы по изд.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 18 т. М.: Воскресенье, 2003–2005. Т. 1–18.

Как он жил эти годы, Достоевский рассказал в «Записках из Мёртвого Дома», почти семь лет спустя, но первый подступ к мемуарам о каторге был в письме брату Михаилу, которое он писал более трёх недель вскоре после выхода из Омского острога – с 30 января по 22 февраля 1850 года (так долго он писал это письмо, пытаясь высказать брату то, что он пережил за четыре года!).

Достоевский вспоминал каторгу с разными чувствами, зачастую тягостными:

«...те 4 года, считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу» (Д18, XV. Кн. I: 127).

В письме Н. Д. Фонвизиной, написанном в то же самое время, он признавался:

«Вот уже очень скоро пять лет как я под конвоем или в толпе людей, и ни одного часу не был один. Быть одному это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей делается ядом и заразой, и вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти четыре года. Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно. Самое несносное несчастье, это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок, сознаёшь всё это, упрекаешь себя даже – и не можешь себя пересилить. Я это испытал» (Д18, XV. Кн. I: 123).

Прежде других писатель был готов обвинять самого себя, но правдой было и то, что пришлось жить в обстановке ненависти к дворянам:

«С каторжным народом я познакомился ещё в Тобольске, и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Это народ грубый, раздражённый и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому, нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали: Впрочем посуды велика ли была защита, когда приходится, жить, пить-есть, и спать с этими людьми несколько лет, и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностью всевозможных оскорблений, “Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был<,> народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал” – вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали и неподклонимостью их воле. Они всегда сознавали, что мы выше их. Понятия об нашем преступлении они не имели. Мы об этом молчали сами, и потому друг друга не понимали, так что нам пришлось выдержать всё мщение и преследование, которым они живут и дышат, к дворянскому сословию. Жить нам было очень худо» (Д18, XV. Кн. I: 117).

И эти слова не исчерпывают всей правды.

Достоевский был благодарен судьбе, что научился отличать среди разбойников замечательных людей:

«Впрочем люди везде люди. И в каторге между разбойниками, я, в четыре года, отличил наконец людей. Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны» (Д18, XV. Кн. I: 119).

На каторге он узнал народ:

«Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними, и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего чёрного, горемычного быта! На целые томы достанет. Что за чудный народ. Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его. Но это моё маленькое самолюбие. Надеюсь, простительно» (Д18, XV. Кн. I: 119).

Это знание отличает Достоевского от всех писавших и пишущих о народе: для него народ не был предметом изучения. Достоевский не только жил с народом, разделил его судьбу и верования – *он сам был народом*.

Каторжная, полная лишений жизнь была для него испытанием, физическим и духовным.

Отправляясь на каторгу, Достоевский обещал:

«Теперь переменяю жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, всё утешение моё» (Д18, XV. Кн. I: 113).

Ожидание исполнилось – на каторге произошло «перерождение убеждений». Суть того, что случилось, Достоевский выразил ёмкой формулой: «Идеи меняются, сердце остаётся одно» (Д18, XV. Кн. I: 148).

«Перерождение убеждений» – трудная тема и для самого Достоевского, о чём он писал брату:

«Что сделалось с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем в эти четыре года – не скажу тебе. Долго рассказывать. Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убежал от горькой действительности, принесло свои плоды» (Д18, XV. Кн. I: 118).

А. Н. Майкову он признавался в невозможности высказаться на бумаге:

«Тут нужно говорить глаз на глаз, чтоб душа читалась на лице, чтобы сердце сказывалось в звуках слова. Одно слово, сказанное с убеждением, с полною искренностью и без колебаний, глаз на глаз, лицом к лицу, гораздо более значит нежели десятки листов исписанной бумаги» (Д18, XV. Кн. I: 147).

О «перерождении убеждений» он писал товарищу по Инженерному училищу Э. И. Тотлебену:

«Я был осуждён законно и справедливо; долгий опыт, тяжёлый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменял мои мысли» (Д18, XV. Кн. I: 162).

И далее:

«Мысли и даже убеждения меняются, меняется и весь человек, и каково же теперь страдать, за то чего уже нет, что изменилось во мне в противоположное, страдать за прежние заблуждения, которых неосновательность я уже вижу сам, чувствовать силы и способности, чтоб сделать хоть что-нибудь для искупления бесполезности прежнего и – томиться в бездействии!» (Д18, XV. Кн. I: 163).

Исчезли «заблуждения» и «ошибки ума», но остались «убеждения сердца». Изменились политические воззрения, но сам писатель утвердился в идеале и в «новых» идеях, многие из которых он высказывал и до каторги.

Свои новые гражданские убеждения Достоевский засвидетельствовал в цикле стихотворений, которые были написаны в 1854–1856 годы по разным поводам политической жизни России: на европейские события (1854), на день рождения вдовствующей императрицы Александры Фёдоровны (1855), на коронацию Александра II и на заключение мира (1856).

В этих стихах Достоевский выразил выстраданные идеи о России и Европе, об исторических судьбах и назначении России, о Христе и христианстве, Церкви и Православии, власти и самодержавии.

Важный поэтический принцип всех стихотворений – принцип уподобления: современные политические испытания уподоблены войне двенадцатого года, испытания России – страданиям Христа, Церковь – Телу Христову, вдовствующая императрица-мать – Богоматери, вступающий на престол царь – Петру I.

Политический повод каждого стихотворения конкретен. Откликаясь на «всесветную беду» Крымской войны, Достоевский продолжил давний, ещё пушкинский спор с «клеветниками России», которые не знают и не понимают России, её истории и предназначения.

Его гневные ямбы обличают предавших Христа и единоверных братьев. Для него противоестествен союз Франции и Англии с Турцией, он характеризует кризис западного христианства:

«Христианин за Турка на Христа!

Христианин, – защитник Магомета!» (Д18, III: 9).

Проповедь Достоевского ясна и вдохновенна. Не политическая корысть, но призвание Христа возродит Францию и Англию и возвысит униженные народы. Христианской этике Достоевского чуждо разделение народов на первые и вторые, первые и последние, возвышенные и униженные, избранные и отверженные – для него все народы равны в своей ответственности перед Богом и Христом.

Идеал и идея России – Святая Русь. В этом убеждении заключена русская идея Достоевского. Она спасительна и пасхальна:

«Спасёмся мы в годину наваждений.

Спасут нас крест, святыня, вера, трон!» (Д18, III: 7).

Так метафорически выражена известная триада «Православие, Самодержавие, Народность», но «народность» в размер не попала, вместо неё названы «крест» и «святыня» (судьба и призвание России).

Для Достоевского назначение России состоит в христианском служении другим народам. Она спасает слабых, «всему младую жизнь даёт»; властвуя, возрождает порабощённые славянские земли, защищает отуреченный Царьград, поруганную Святую Землю, Азию, где живут народы, ждущие заступничества России.

В стихах выражено представление о России как об опоре и надежде Православия, о Царьграде как мировой столице Православия, о Христе как грозном Судии и милостивом Спасителе, о православном Царе как справедливом защитнике обиженных и угнетённых. В них сформулирован почти весь комплекс новых политических идей Достоевского.

18 февраля 1855 года, в разгар Крымской войны, умер Николай I. Достоевский в числе прочих участвовал в панихиде, которая была отслужена в Семипалатинске. Личными переживаниями по этому поводу проникнуто послание Достоевского вдовствующей императрице Александре Фёдоровне по случаю её скорбного дня рождения – первого без мужа.

По-христиански автор признателен почившему монарху за наказание. Покаяние открывает сокровенную правду «перерождения убеждений»: отказ от заблуждений, осознание,

«Что снова Русский я и – снова человек!» (Д18, III: 11).

Достоевский пророчит славное предназначение Александре Фёдоровне, напоминает ей о том, что она не только вдова покойного императора, но и мать вступающего на престол царя.

Его пожелание:

«Для счастья Его и нашего живи,
И землю Русскую, как мать благослови» (Д18, III: 12).

Третье стихотворение написано на заключение мира и коронацию Александра II.

«Эпоха новая пред нами.
Надежды сладостной заря
Восходит ярко пред очами...
Благослови Господь Царя!» (Д18, III: 13).

Четырёхстопный ямб гибко и чутко настраивается то на приветствие, то на молитву, то на оду, то на научение, то на клятву.

Ожидание нового царствования связывается с началом «славных дел Петра», который назван в качестве примера и дан пока в положительном свете.

В молитве за царя выражены монархические убеждения Достоевского. Достоинство его концепции власти состоит не в том, что она оригинальна или содержит какие-то новые аспекты, но в том, что у неё есть тысячелетние основания: власть в России всегда олицетворена, у неё всегда есть лицо, она авторитарна и авторитетна.

В стихах этого поэтического цикла впервые столь откровенно и зримо проявляются религиозные чаяния Достоевского, его представления о Боге и Христе, его взгляд на Россию и мировую историю – *взгляд совершенного христианина*.

Неуместны сомнения в искренности Достоевского тех, кому не нравятся политические взгляды писателя. Всей жизнью он доказал искренность своих поэтических деклараций и новых политических убеждений. Они были неизменны в жизни и творчестве писателя. *В них сформулирована новая программа его литературной и гражданской деятельности.*

На смену «вольнолюбивым мечтам» пришло «почвенничество».

Всем сердцем писатель воспринял народную правду и веру.

Менее всего Достоевский был склонен идеализировать народ, но в грубых, грязных, подчас страшных людях он разглядел идеальное лицо народа.

Он принял каторгу как очистительное страдание, сопричастное Голгофе и воскрешению Христа.

На каторге он узрел Лик Христа:

«...идеал народа – Христос. А с Христом конечно и просвещение, и в высшие, роковые минуты свой народ наш всегда решает и решал всякое общее всенародное дело своё всегда по-христиански» (Д18, XII: 334).

Вот главный пункт новых убеждений.

Это выразилось в личном символе веры, который Достоевский изложил Н. Д. Фонвизиной в письме, написанном одновременно с письмом брату из Омска:

«Я скажу вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однакоже Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю, и нахожу что другими любим, и в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот Символ очень прост, вот он: верить что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе что и не может быть. Мало того если б кто мне доказал что Христос вне истины, и действительно было бы что истина вне Христа, то мне лучше хотелось-бы оставаться со Христом нежели с истиной» (Д18, XV. Кн. I: 122).

Некоторых читателей смущает парадокс Достоевского – условное противопоставление Христа и истины, но смысл риторической фигуры «Христос вне истины» и «истина вне Христа» как раз и состоит в убеждении и утверждении: Христос есть Истина, и истина – Христос.

О перерождении убеждений Достоевский говорил с другом юности А. Н. Майковым. Эту тему затронул сам товарищ по делу Петрашевского, не попавший в 1849 году под жернова юстиции. В письме он признавался, что много передумал и пережил с тех пор, отказался от прежних убеждений, стал другим.

Достоевский был удивлён суждениям друга:

«Читал письмо ваше и не понял главного. Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной, обо всём, о чём вы с таким восторгом говорите. Но, друг мой! Неужели вы были когда-нибудь иначе? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения. Россия, долг, честь? – да! Я всегда был истинно русской – говорю вам откровенно» (Д18, XV. Кн. I: 148).

Достоевский недоумевал:

«Что же нового в том движении, обнаружившемся вокруг вас, о котором вы пишете как о каком-то новом направлении? Признаюсь вам, я вас не понял. Читал ваши стихи и нашёл их прекрасными; вполне разделяю с вами патриотическое чувство нравственного освобождения славян. Это роль России, благородной, великой России, святой нашей матери. Как хорошо окончание, последние строки в вашем Клермонтском Соборе! Где вы взяли такой язык, чтоб выразить так великолепно такую огромную мысль? Да! разделяю с вами идею что Европу и назначение её окончит Россия. Для меня это давно было ясно. Вы пишете, что общество как бы проснулось от апатии. Но вы знаете, что в нашем обществе вообще манифестаций не бывает. Но кто ж из этого заключал когда-нибудь, что оно без энергии?» (Д18, XV. Кн. I: 148–149).

Он призывал поэта и друга:

«Осветите хорошо мысль и позовите общество и общество вас поймёт. Так и теперь: идея была освещена великолепно, вполне национально и рыцарски – (это правда, надо отдать справедливость) – и наша политическая идея, завещанная ещё Петром, оправдалась всеми. Может-быть вас смущал и смущал ещё недавно наплыв Французских идей в ту часть общества, которое мыслит, чувствует и изучает? Тут была и исключительность, правда. Но всякая исключительность по натуре своей вызывает противоположность. Но согласитесь сами что все здравомыслящие, т. е. те которые дают тон всему; смотрели на Французские идеи со стороны научной, – не более, и сами, может быть даже преданные исключительности, были всегда Русскими. В чём же вы видите новизну?» (Д18, XV. Кн. I: 149).

Задав эти риторические вопросы, Достоевский исповедал свои убеждения:

«Уверю вас, что я напри^{ер} до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, – это был русской народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать

не раз даже в душе разбойника великодушие, потому собственно, что мог понять его: ибо был сам русской» (Д18, XV. Кн. I: 149).

Что это была за «практика», в которой русский узнаёт русского, понимает, что и «разбойник» – «брат по несчастью»? Очевидно, что «свой» и «чужой» здесь определялся не по языку и внешнему облику, а по «великодушью», «по сердцу», «по совести»:

«Несчастье моё дало мне многое узнать практически, может быть много влияния имела на меня эта практика, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, т. е. действовать против своего убеждения» (Д18, XV. Кн. I: 149).

То, что роднит Достоевского и его «братьев по несчастью», уже было явлено во время распятия на Голгофе.

«Перерождение убеждений» стало обретением духовной «почвы», народной правды, осознанием Истины и полным приятием Христа и Евангельского Слова.

Важную роль в перерождении убеждений сыграло Евангелие, подаренное жёнами декабристов. Декабристы и их жёны не оставляли своей заботой «узников нового времени» в Омском остроге. С ними Достоевский секретно переписывался, а Прасковья Егоровна Анненкова даже смогла посетить его во время заточения.

Каторжное Евангелие вобрало в себя следы многолетнего чтения и раздумий писателя над страницами вечной книги, впитало каторжный пот и грязь, сохранило пометы карандашом, чернилами, сухим пером, ногтем, загибы страниц. Эти пометы, видимые и невидимые, в полном смысле пре-вращают Книгу в дневник перерождения старых и рождения новых убеждений.

В Евангелии Достоевский хранил самые дорогие и памятные вещи. В нём он хранил и «Сибирскую тетрадь». До реставрации она идеально вкладывалась в середину и в конец книжного блока. Их сопряжение под одним переплётом ещё раз подчёркивает значение и духовный уровень «Сибирской тетради».

В остроге у Достоевского были две книги Священного Писания: подаренный в Тобольске Новый Завет на русском языке и Библия на церковнославянском языке. Библию украл арестант Петров, с Достоевским остался Новый Завет.

Евангелие было для Достоевского воистину Благой Вестью, давним и вечно новым откровением о человеке, мире и правде Христа. Из этой книги он черпал духовные силы в Мёртвом Доме. Она была источником и залогом его творческих вдохновений и откровений.

В своих творениях Достоевский проповедовал Христа. О его апостольском служении свидетельствует сербский Святой Преподобный Иустин (Попович), автор лучшей книги о русском писателе – «Достоевский о Европе и славянстве» (1940).

В Сибири Достоевский обрёл бесценный опыт: был заживо погребён в Мёртвом Доме, узнал народ, проникся Образом и Словом Христа, принял Благою Весть, воскрес из мёртвых, стал новым человеком, сказал *новое слово* миру в критике, публицистике, творчестве, открыл читателям тайну человека, тайну истории, тайну России.

